Мысли

Автор:
Блез Паскаль

Мысли

Блез Паскаль

Эксклюзивная классика (АСТ)

Что есть человек? Какова его природа? В чем смысл жизни? Этим основополагающим вопросам человеческого бытия посвящены «Мысли» – оставшийся незавершенным труд Паскаля, который содержит глубокие размышления о Боге и месте человека во Вселенной.

Афористичность изложения, краткость определений и лаконичный стиль выделяют этот шедевр из множества философских текстов XVII века. «Мысли», написанные в переломную эпоху, когда на излете гуманизма Возрождения зарождался рационализм Просвещения, чрезвычайно актуальны и сегодня, во времена не менее сложные и противоречивые.

В формате pdf.a4 сохранен издательский макет.

Блез Паскаль

Мысли

© Перевод. Ю. Гинзбург, наследники, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Жизнь господина Паскаля, написанная госпожой Перье, его сестрой, супругой господина Перье, советника палаты сборов в Клермоне

Мой брат родился в Клермоне 19 июня тысяча шестьсот двадцать третьего года. Отца моего звали Этьен Паскаль, он был председателем Палаты сборов. Моя мать звалась Антуанетта Бегон. Как только брат мой достиг того возраста, когда с ним можно было говорить, он стал выказывать ум необыкновенный – краткими ответами, весьма точными, а еще более – вопросами о природе вещей, которые удивляли всех вокруг. Такое начало, подававшее блестящие надежды, никогда нас не обманывало, ибо по мере того как он становился взрослее, возрастала и сила его рассуждений, далеко превосходившая его телесные силы.

Моя мать умерла в 1626 году, когда брату было всего три года, и отец, оставшись один, удвоил заботы о своем семействе; поскольку других сыновей у него не было, положение единственного сына и другие качества, которые он угадывал в этом ребенке, заставляли его питать к нему такую привязанность, что он не мог решиться доверить его воспитание кому-нибудь другому и положил обучать его сам, что он и сделал; мой брат никогда не посещал коллежа и не знал другого учителя, кроме отца.

В 1632 году отец переехал в Париж, перевез нас всех туда и там обосновался. Моему брату, которому было тогда только восемь лет, переезд этот был очень полезен, исходя из отцовских замыслов о его воспитании; отец, без сомнения, не мог бы уделять ему столько забот в провинции, где его должность и многочисленное общество, постоянно у него собиравшееся, отнимали у него много времени. А в Париже он был совершенно свободен; он посвятил себя этому целиком и добился такого успеха, какой только могут принести заботы отца столь разумного и любящего.

Главным правилом его воспитания было, чтобы ребенок всегда оставался выше того, что изучал; поэтому отец не хотел преподавать ему латынь, пока ему не исполнилось двенадцати лет, чтобы она ему легче давалась. За это время он не позволял ему праздности, а занимал его всевозможными вещами, на которые считал его способным. Он объяснил ему в общем, что такое языки; он показал, что языки подчиняются определенным правилам грамматики, что из этих правил бывают исключения, которые люди позаботились отметить, и что так было

найдено средство сделать все языки доступными пониманию от страны к стране. Эта общая мысль прояснила его понятия и дала ему увидеть, для чего существуют правила грамматики, так что когда он стал их изучать, то уже знал, зачем он это делает, и занимался как раз теми вещами, где более всего требовалось прилежания.

После всех этих познаний отец преподал ему и другие. Он часто говорил с ним о необыкновенных явлениях в природе, например о порохе и других вещах, поражающих разум, когда о них задумываешься. Мой брат находил большое удовольствие в этих беседах, но хотел знать объяснения всех вещей; а поскольку они не все известны, то, когда отец ему их не давал или давал лишь те, что приводят обычно и суть не что иное, как отговорки, – это его не удовлетворяло. Ибо он всегда обладал удивительной точностью ума в определении ложного; можно сказать, что всегда и во всем единственным предметом, к которому стремился его ум, была истина, так как никогда и ни в чем он не умел и не мог находить удовлетворения, кроме своих познаний. Поэтому он с детства мог соглашаться только с тем, что казалось ему несомненно правильным, так что, когда ему не давали точных объяснений, он искал их сам и, задумавшись о какой-то вещи, не оставлял ее до тех пор, пока не находил для нее удовлетворяющего его объяснения.

Однажды за столом кто-то случайно ударил ножом по фаянсовой тарелке; он заметил, что при этом раздается громкий звук, который стихает, если прикрыть тарелку рукой. Он хотел непременно узнать тому причину, и этот опыт привел его ко множеству других со звуком. Он обнаружил при этом так много, что в возрасте одиннадцати лет написал о том трактат, который был найден весьма убедительным.

Его гений в геометрии стал проявляться, когда ему было всего двенадцать лет, и при обстоятельствах столь необыкновенных, что о них стоит рассказать подробно. Мой отец обладал обширными познаниями в математике и имел обыкновение беседовать о ней со всеми сведущими в этой науке людьми, которые бывали у него. Но поскольку он намеревался обучить моего брата языкам и знал, что математика имеет свойство заполонять и довольствовать собою ум, то не хотел, чтобы мой брат с нею знакомился, опасаясь, как бы это не заставило его пренебрегать латынью и другими языками, в которых он желал его совершенствовать. Поэтому он спрятал все математические книги. Он воздерживался разговаривать со своими друзьями о математике в его присутствии; но несмотря на такие предосторожности, любопытство ребенка

было возбуждено, и он часто просил отца обучать его математике. Но отец отказывался, предлагая ему это в качестве награды. Он обещал, что, как только тот преуспеет в латыни и греческом, он начнет учить его математике.

Мой брат, видя подобное сопротивление, спросил его однажды, что такое эта наука и чем она занимается. Отец ответил ему в общем, что это умение строить правильные фигуры и находить пропорции между ними; вместе с тем он запретил говорить о ней дальше и думать когда бы то ни было. Но его ум, не умевший оставаться в предуказанных границах, как только узнал это простое вступление – что геометрия есть средство строить безупречно правильные фигуры, – стал размышлять о ней в свои свободные часы; придя в комнату, где он обычно играл, он взял уголек и принялся чертить фигуры на полу, ища способа построить совершенную окружность, треугольник с равными сторонами и углами и другие подобные вещи.

Он нашел это все без труда; затем он стал искать пропорции фигур между собой. Но поскольку отец столь тщательно скрывал от него такие вещи, что он не знал даже названий фигур, пришлось ему самому их придумывать. Он называл окружность колечком, прямую – палочкой; так же и с прочим. После названий он придумал аксиомы и наконец совершенные доказательства, и, переходя от одного к другому, он так далеко продвинулся в своих изысканиях, что дошел до тридцать второй теоремы первой книги Евклида. Когда он ею занимался, отец случайно вошел к нему в комнату, так что брат этого не услышал. Он был на глазах отца так поглощен своими занятиями, что долго не замечал его прихода. Трудно сказать, кто был больше поражен, – сын, увидев отца, строго запретившего ему такие занятия, или отец, увидев сына, погруженного в такие вещи. Но отцовское удивление еще возросло, когда, спросив сына, чем он занимается, услышал в ответ, – что он искал такие-то и такие-то вещи – что и было тридцать второй теоремой Евклида.

Отец спросил, что навело его на такую мысль, он ответил, что обнаружил то-то и то-то; в ответ на следующий вопрос он рассказал еще несколько доказательств, и так, возвращаясь назад и пользуясь как названиями «колечками» и «палочками», он дошел до своих определений и аксиом.

Мой отец был так потрясен величием и мощью его дарования, что, не сказав ему ни слова, вышел и отправился к господину Ле Пайёру, своему близкому другу и очень ученому человеку. Придя к нему, он долго оставался неподвижен и словно вне себя. Господин Ле Пайёр, видя все это и вдобавок катившиеся из его глаз

слезы, был не на шутку встревожен и просил его не скрывать более причину своих огорчений. Отец ему сказал: «Я плачу не от горя, а от радости. Вы знаете, как я старался не допустить для моего сына знакомства с геометрией из страха отвлечь его от других занятий. Но посмотрите, что он сделал».

Господин Ле Пайёр был удивлен не меньше, чем мой отец, и сказал, что считает несправедливым и далее сковывать такой ум и скрывать от него эти познания, что следует показать ему книги и больше его не удерживать.

Отец с этим согласился и дал ему «Начала» Евклида для чтения в часы досуга. Он прочел и разобрался в них сам, и объяснения ему не потребовалось ни разу. Пока он их читал, он придумывал и свое и продвинулся так далеко, что смог постоянно бывать на еженедельных собраниях, куда сходились самые ученые люди в Париже, чтобы принести свои работы и обсудить чужие.

Брат мой стал очень заметен и в обсуждениях, и в собственных трудах, будучи одним из тех, кто наиболее часто приносил туда новые работы. В этих собраниях нередко также разбирались задачи, присланные из Германии и других стран, и его мнение обо всем этом выслушивалось внимательнее, чем чье-либо другое: у него был ум столь живой, что, случалось, он обнаруживал ошибки там, где прочие их не замечали. А между тем он уделял этим занятиям лишь часы досуга, так как изучал тогда латынь, согласно правилам, установленным для него отцом. Но поскольку он находил в этой науке истину, которую всегда так пылко искал, то был так этим счастлив, что вкладывал в нее всю душу; и как бы мало он ею ни занимался, он продвигался так быстро, что в возрасте шестнадцати лет написал «Трактат о конических сечениях», который слыл таким достижением ума, что говорили, будто со времен Архимеда не бывало ничего подобного.

Все ученые полагали, что надо сразу же его напечатать, потому что, говорили они, хотя такой труд всегда будет вызывать восхищение, а все же, если его напечатать в тот год, когда автору всего шестнадцать лет, это обстоятельство немало прибавило бы к его достоинствам. Но поскольку мой брат никогда не имел жажды славы, он не придал этому значения и труд этот так и не был напечатан.

Все это время он продолжал изучать латынь и греческий, а кроме того, за едой и после нее отец беседовал с ним то о логике, то о физике и других разделах философии, и он все об этом узнал, не бывав никогда в коллеже и не имев других учителей ни в этом, ни во всем прочем.

Можно только вообразить, как радовался отец успехам моего брата во всех науках; но он не подумал, что такое усиленное и постоянное напряжение ума в столь нежном возрасте может дурно сказаться на его здоровье; и действительно, оно стало ухудшаться, как только он достиг восемнадцати лет. Но недомогания, которые он тогда испытывал, были невелики и не мешали ему продолжать все его привычные занятия, так что как раз в то время, в возрасте девятнадцати лет, он изобрел арифметическую машину, с помощью которой можно производить всевозможные действия не только без пера или жетонов[1 - Жетоны – разноцветные кружочки различного достоинства (20, 50 единиц и т. д.), с помощью которых вели счет в XVII веке.], но и без знания правил арифметики, и притом с безошибочной точностью. Это изобретение считалось вещью совершенно небывалой, поскольку укладывало в машину науку, обитающую в уме человеческом, и указывало средства производить с ней все действия безупречно правильно, не прибегая при этом к размышлению. Эта работа очень его утомила не самим замыслом или механизмом, которые он придумал без труда, но необходимостью объяснять все это рабочим, так что он потратил два года на то, чтобы довести ее до нынешнего совершенства.

Но эта усталость и хрупкость его здоровья, сказывавшаяся уже несколько лет, вызвали у него недомогания, от которых он так и не избавился с тех пор; и он говаривал нам, что с восемнадцати лет у него не было ни дня без страданий. Недомогания эти бывали разной тяжести, и как только они давали ему передышку, его ум сразу же устремлялся на поиски чего-то нового.

В один из таких промежутков, в возрасте двадцати трех лет, увидев опыт Торричелли, он затем придумал и осуществил свой, называемый «опыт с пустотой», ясно доказывающий, что все явления, приписывавшиеся до того пустоте, причиной своей имеют тяжесть воздуха. Это была последняя работа в земных науках, которой он занял свой ум, и хотя впоследствии он изобрел циклоиду, в моих словах нет противоречия, потому что он нашел ее, не думая о ней и при обстоятельствах, заставляющих полагать, что он не прикладывал к тому усилий, как я бы сказала на его месте. Сразу же после того, когда ему не было еще и двадцати четырех лет, Промысел Божий представил случай, побудивший его читать благочестивые книги, и Бог так просветил его через это святое чтение, что он совершенно понял, что христианская религия требует от нас жить только для Бога и не иметь иной цели, кроме Него. Эта истина показалась ему столь очевидной, и столь обязательной, и столь благотворной, что он оставил все свои изыскания. И с тех пор он отринул все прочие познания, чтобы предаваться тому, о чем Иисус Христос сказал, что оно одно только нужно

(Лк. 10, 42).

Он был до той поры особым покровительством Провидения обережен ото всех пороков молодости, и, что еще более удивительно, при его складе и направлении ума, он никогда не был склонен к вольнодумству в том, что касается религии, всегда ограничивая свою любознательность явлениями природными; и он мне не раз говорил, что это правило присоединялось у него ко всем остальным, завещанным ему отцом, который сам питал благоговение к религии, внушил его и сыну с детства и наказал ему, что все, что составляет предмет веры, не может быть предметом рассуждений.

Эти правила, часто повторявшиеся ему отцом, к которому он питал глубочайшее почтение и в котором обширные познания соединялись с умом сильным и точным, так врезались ему в душу, что какие бы речи он ни слышал от вольнодумцев, они его никак не задевали, и хотя он был еще очень молод, но считал их людьми, исповедовавшими ложную мысль о том, что разум человеческий превыше всего, и не понимавшими самой природы веры.

Так этот великий ум, столь широкий и столь исполненный любознательности, столь неустанно искавший причины и объяснения всему на свете, был в то же время покорен всем заповедям религии как ребенок. И такая простота царила в его душе всю жизнь, так что с тех самых пор, когда он решился не изучать более ничего, кроме религии, он никогда не занимался сложными теологическими вопросами и употреблял все силы своего ума на то, чтобы познавать правила христианской морали и совершенствоваться в ней, чему он посвятил все дарования, данные ему Богом, и весь остаток своей жизни не делал ничего иного, кроме как размышлял денно и нощно о законе Божием. Но, хотя он особо и не изучал схоластику, ему были известны постановления Церкви против ересей, измышленных хитростями и заблуждениями ума человеческого; такого рода изыскания более всего его возмущали, и в это время Бог послал ему случай явить свое рвение к религии.

Он жил тогда в Руане, где наш отец был занят на королевской службе; в то время там объявился некий человек, который обучал новой философии, привлекавшей всех любопытных. Двое молодых людей, из числа друзей моего брата, зазывали его к этому человеку; он с ними пошел. Но в беседе с философом они были немало удивлены, убедившись, что, излагая им основы своей философии, он извлекал из них выводы о вопросах веры, противоречащие решениям Церкви. Он доказывал с помощью рассуждений, что тело Иисуса

Христа не образовалось из крови Пресвятой Девы, и многое другое в том же духе. Они пытались возражать ему, но он стоял на своем. Обсудив между собой, как было бы опасно позволить беспрепятственно наставлять юношество человеку с такими ложными воззрениями, они решили сначала его предупредить, а если он будет упорствовать, то донести на него. Так и случилось, потому что он пренебрег их советами; тогда они сочли, что их долг – донести на него монсеньеру Дю Белле, исполнявшему тогда обязанности руанского епископа по поручению монсеньера Архиепископа. Монсеньер Дю Белле послал за этим человеком, допросил его, но был обманут двусмысленным признанием, которое тот написал собственноручно и скрепил своей подписью; впрочем, он не придал большой важности предупреждению, исходившему от троих молодых людей. Но как только они прочли это исповедание веры, то сразу поняли все его недомолвки, и это заставило их поехать к монсеньеру Архиепископу Руанскому в Гайон. Вникнув во все, он нашел это столь важным, что дал полномочия своему совету, а монсеньеру Дю Белле послал особое распоряжение заставить этого человека объясниться по всем статьям обвинения и ничего не принимать от него иначе, как через посредство тех, кто на него донес. Это было исполнено, и он предстал перед архиепископским советом и отрекся от всех своих воззрений; можно сказать, что он сделал это искренне, потому что никогда не выказывал обиды на тех, кому был обязан этой историей, что позволяет думать, что он сам был обманут ложными заключениями, которые выводил из своих ложных посылок. Верно также, что в этом не было злого умысла против него и никакого другого намерения, кроме как открыть глаза ему самому и помешать ему соблазнять молодых людей, которые оказались бы не способны отличать истинное от ложного в таких тонких вещах. Так эта история разрешилась благополучно. И поскольку мой брат все более погружался в поиски способов угождать Господу, эта любовь к совершенству так пылала в нем с двадцати четырех лет, что охватила весь дом. Отец, не стыдясь учиться у своего сына, стал с тех пор вести жизнь более строгую благодаря постоянным упражнениям в добродетели вплоть до самой смерти, и кончина его была совершенно христианская.

Моя сестра, наделенная дарованиями необыкновенными, снискавшими ей с детства такое громкое имя, какого нечасто добиваются и девицы много старше ее, была так тронута речами брата, что решилась отказаться от всякого успеха, который до тех пор так любила, и целиком посвятить себя Богу. Поскольку она была очень умна, то, как только Бог посетил ее сердце, она поняла вместе с братом все, что он говорил о святости христианской религии, и не могла более сносить своего несовершенства, в котором, ей казалось, она пребывала в миру; она стала монахиней в обители с очень суровым уставом, в Пор-Рояле-в-Полях, и

умерла там в возрасте тридцати шести лет, пройдя самые трудные послушания и утвердившись за краткий срок в таких достоинствах, каких другие достигают лишь за долгие годы.

Моему брату было тогда двадцать четыре года; его недомогания все усиливались, и дошло до того, что он не мог глотать никакой жидкости, если она не была подогрета, и то лишь по капельке. Но так как, кроме того, он страдал невыносимыми головными болями, воспалением внутренностей и многими другими недугами, то врачи велели ему очищаться через день в течение трех месяцев; ему приходилось глотать все снадобья так, как он мог, то есть подогретыми и каплю за каплей. Это была настоящая пытка, и окружавшим его было трудно даже смотреть на это; но мой брат никогда не жаловался. Он все это считал благом для себя. Ведь он не знал более иной науки, кроме науки добродетели, и, понимая, что она совершенствуется в недугах, он с радостью шел на все мучительные жертвы своего покаяния, видя во всем преимущества христианства. Он часто говорил, что прежде болезни мешали его занятиям и он страдал от этого, но что христианин должен принимать все, а особенно страдания, потому что в них познается Иисус Христос распятый, Который должен быть для христианина всей наукой и единственной славой в жизни.

Продолжительное употребление этих снадобий вместе с другими, ему предписанными, принесли некоторое облегчение, но не полное выздоровление. Врачи решили, что для полного восстановления сил он должен отказаться от всякой длительной умственной работы и, насколько возможно, искать случаев направлять свой ум на то, что его занимало бы и было бы ему приятно, то есть, одним словом, на обычные светские беседы; ведь других развлечений, подходящих для моего брата, не было. Но как заставить решиться на это такого человека, как он, которого Бог уже посетил? И вправду сначала это оказалось очень трудно. Но на него так наседали со всех сторон, что он в конце концов уступил доводам о необходимости укрепить свое здоровье: его убедили, что это сокровищница, которую Бог велел нам беречь.

И вот он оказался в свете; он не раз бывал при дворе, и опытные царедворцы замечали, что он усвоил вид и манеры придворного с такой легкостью, будто воспитывался там от рождения. В самом деле, когда он говорил о свете, то так проницательно вскрывал все его пружины, что нетрудно было себе представить, как он умел бы на них нажимать и вникать во все, что требуется, чтобы приспособиться к такой жизни, насколько он бы счел это разумным.

То было время его жизни, употребленное наихудшим образом: хотя милосердие Божие оберегло его от пороков, а все же то был мирской дух, весьма отличный от евангельского. Богу, ожидавшему от него большего совершенства, не угодно было оставлять его в таком состоянии надолго, и Он воспользовался моей сестрой, чтобы его извлечь, как некогда Он воспользовался моим братом, чтобы извлечь ее из ее мирских занятий.

С тех пор как она стала монахиней, ее пыл всякий день усиливался и все ее мысли дышали одной бесконечной святостью. Вот почему она не могла снести, что тот, кому она после Бога более всех была обязана снизошедшей на нее благодатью, не имел такой же благодати; и так как мой брат виделся с нею часто, она часто говорила об этом, и наконец слова ее обрели такую силу, что она убедила его – как он убедил ее первый – покинуть мир и все мирские разговоры, самые невинные из которых – всего лишь повторение пустяков, совершенно недостойное святости христианства, к которой мы все призваны и образец которой нам дал Иисус Христос.

Соображения здоровья, которые раньше поколебали его, показались ему теперь столь жалкими, что он сам их стыдился. Свет истинной мудрости открыл ему, что спасение души следует предпочесть всему остальному и что удовлетворяться преходящими благами для тела, когда речь идет о вечном благе для души, – это значит рассуждать ложно.

Ему было тридцать лет, когда он решился оставить свои новые мирские обязанности; начал он с того, что переменил квартал, а чтобы бесповоротно порвать со своими привычками, отправился в деревню; вернувшись оттуда после продолжительного отсутствия, он так ясно показал свое желание покинуть свет, что и свет покинул его.

Как и во всем, он и в этом хотел добраться до самого основания: его ум и сердце были так устроены, что он не мог иначе. Правила, которые он положил себе в своем уединении, были твердые правила истинного благочестия: одно – отказаться от всех удовольствий, а другое – отказаться от всякого рода излишеств.

Для исполнения первого правила он прежде всего стал, насколько возможно, обходиться без слуг и с тех пор поступал так всегда: сам стелил себе постель, обедал в кухне, относил посуду, одним словом, позволял слугам делать только то, чего никак не мог делать сам.

Обходиться вовсе без чувственных ощущений было невозможно; но когда ему приходилось по необходимости доставлять чувствам какое-то удовольствие, он удивительно искусно отвращал от него душу, чтобы она не имела тут своей доли. Мы никогда не слышали, чтобы он похвалил какое-то блюдо, которое ему подавали; а когда ему старались иногда приготовить что-нибудь повкуснее, то на вопрос, понравилось ли ему кушанье, он отвечал просто: «Надо было предупредить меня заранее, а сейчас я уже об этом не помню и, признаюсь, не обратил внимания». А когда кто-нибудь, следуя принятому в свете обычаю, восхищался вкусным кушаньем, он не мог этого выносить и называл это чувственностью, хотя это и была самая обыкновенная вещь, – «потому, – говорил он, – что это значит, что вы едите, чтобы ублажить свой вкус, что всегда дурно, либо по меньшей мере, что вы говорите тем же языком, что и люди чувственные, а это не пристало христианину, который ничего не должен говорить такого, что не дышало бы святостью». Он не позволял, чтобы ему подавали какие-нибудь соусы или рагу, ни даже апельсины или кислый виноградный сок, ничего возбуждающего аппетит, хотя от природы он все это любил.

С самого начала своего затворничества он определил количество пищи, необходимое для потребностей его желудка; и с тех пор, какой бы ни был у него аппетит, он никогда не переступал эту меру, и как бы ему ни было противно, съедал все, что себе определил. Когда его спрашивали, зачем он это делал, он отвечал, что надо удовлетворять потребности желудка, а не аппетита.

Но умерщвление чувств не ограничивалось у него только отказом от всего, что могло быть ему приятно, как в еде, так и в лечении: он четыре года подряд принимал разные снадобья, не выказывая ни малейшего отвращения. Как только ему предписывали какое-нибудь лекарство, он начинал его принимать без усилий, и когда я удивлялась, как это ему не противно принимать такие ужасные снадобья, он смеялся надо мной и говорил, что не понимает, как это может быть противно то, что принимаешь по доброй воле и будучи предупрежден о его дурных свойствах, что такое действие должны производить только насилие и неожиданность. В дальнейшем нетрудно будет увидеть, как он применял это правило, отказываясь от всякого рода удовольствий духа, к которым могло быть причастно самолюбие.

Не менее заботился он и об исполнении другого поставленного им себе правила, вытекающего из первого, – отказываться от всякого рода излишеств. Постепенно он убрал все занавеси, покрывала и обивку из своей комнаты, потому что не считал их необходимыми; к тому же и приличия его к тому не обязывали, ибо его

посещали отныне только те люди, которых он неустанно призывал к воздержанию и которые, следовательно, не удивлялись, увидев, что он живет так, как советует жить другим.

Вот как он провел пять лет своей жизни, от тридцати лет до тридцати пяти, в неустанных трудах для Бога или для ближнего, или для себя самого, стремясь ко все большему самосовершенствованию; в каком-то смысле можно сказать, что это и был весь срок его жизни, потому что четыре года, которые Бог дал ему прожить после того, были одной сплошной мукой. С ним случилась не какая-то новая болезнь, но удвоились недомогания, которыми он страдал с юности. Но тогда они набросились на него так яростно, что в конце концов его погубили; и во все это время он совсем не мог ни минуты поработать над великим трудом, который он затеял в защиту религии, не мог поддерживать людей, которые спрашивали его совета, ни устно, ни письменно: недуги его были так тяжелы, что он не мог им помочь, хотя очень этого желал.

Мы уже говорили, что он отказался от лишних визитов и вообще никого не хотел видеть.

Но поскольку люди ищут сокровища повсюду, где они есть, и Богу неугодно, чтобы свечу зажженную покрывали сосудом[2 - Имеются в виду евангельские слова: «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет» (Лк. 8,16).], то кое-кто из умных людей, знакомых ему прежде, искал его и в его уединении и спрашивал совета. Иные, которые имели сомнения в вопросах веры и знали, как он в них сведущ, также обращались к нему; и те, и другие – а многие из них живы – всегда возвращались удовлетворенными и свидетельствуют по сей день, при каждом случае, что это его разъяснениям и советам они обязаны тем добром, которое знают и делают.

Хотя он вступал в такие беседы только из милосердия и бдительно следил за собой, чтобы не растерять того, чего пытался достичь в своем затворничестве, они были ему все-таки тяжелы, и он опасался, как бы тщеславие не заставило его находить удовольствие в этих беседах; а его правилом было – не допускать таких удовольствий, в которых тщеславие было бы хоть как-то замешано. С другой стороны, он не полагал себя вправе отказывать этим людям в помощи, в которой они нуждались. Отсюда в нем проистекала борьба. Но дух самоумаления, который и есть дух любви, все примиряющий, пришел ему на помощь и внушил завести железный пояс, весь утыканный шипами, и надевать

его прямо на голое тело всякий раз, когда ему докладывали, что какие-то господа его спрашивают. Он так и сделал, и когда в нем просыпался дух тщеславия или когда он испытывал какое-то удовольствие от беседы, то прижимал его к себе локтем, чтобы усилить боль от уколов и так напомнить себе о своем долге. Такой обычай показался ему столь полезным, что он прибегал к нему и для того, чтобы предохранять себя от праздности, к которой был принужден в последние годы своей жизни. Поскольку он не мог ни читать, ни писать, то ему приходилось предаваться безделью и отправляться на прогулку, не имея возможности думать о чем-либо связно. Он справедливо опасался, как бы такое отсутствие занятий, которое есть корень всякого зла, не отвратило его от его воззрений. И чтобы всегда быть начеку, он словно вживил в свое тело этого добровольно приглашенного врага, который, вгрызаясь в его плоть, беспрестанно побуждал его дух к бодрости и тем давал ему возможность верной победы. Но все это держалось в такой тайне, что мы ничего не знали, а стало нам это известно только после его смерти от одного весьма добродетельного человека, которого он любил и которому обязан был об этом сказать по причинам, касавшимся самого этого человека.

Все то время, которое не отнимали у него дела милосердия, подобные тем, о каких мы рассказали, он отдавал молитвам и чтению Священного Писания. Это было словно средоточие его сердца, где он находил всю радость и весь покой своего уединения. У него и вправду был особенный дар вкушать благо таких двух драгоценных и святых занятий. Можно даже сказать, что для него они не различались: молясь, он размышлял о Священном Писании. Он часто говорил, что Священное Писание – наука не для ума, а для сердца, что она понятна только тем, у кого сердце чистое, а все остальные видят в нем только тьму, что покров, скрывающий Писание от иудеев, скрывает его и от дурных христиан, и что любовь – не только предмет Писания, но и врата в него. Он заходил еще дальше и говорил, что способность постигать Священное Писание приходит к тем, кто ненавидит самих себя и любит умерщвленную жизнь Иисуса Христа. В таком расположении духа он читал Священное Писание и делал это столь прилежно, что знал его почти все наизусть, так что ему нельзя было привести неверную цитату, и он мог с уверенностью сказать: «Этого нет в Писании» или «Это там есть», – и точно называл место и знал по сути все, что могло быть ему полезно для совершенного понимания всех истин как веры, так и морали.

У него был такой замечательный склад ума, который украшал все, что он говорил; и хотя он многие вещи узнал из книг, но переваривал их по-своему, и они казались совершенно иными, потому что он всегда умел изъясняться так, как следовало, чтобы они проникли в ум другого человека.

У него был необыкновенный склад ума от природы; но он создал для себя совершенно особые правила красноречия, которые еще усиливали его дарование. Это вовсе не было то, что называют блестящими мыслями и что на самом деле есть фальшивый бриллиант и ничего не означает: никаких громких слов и очень мало метафорических выражений, ничего ни темного, ни грубого, ни кричащего, ни пропущенного, ни лишнего. Но он понимал красноречие как способ выражать мысли так, чтобы те, к кому обращаются, могли их схватывать легко и с удовольствием; и он полагал, что это искусство состояло в некоем соотношении между умом и сердцем тех, к кому обращаются, и мыслями и выражениями, которыми пользуются, но эти соотношения связываются воедино должным образом, только если им придать подобающий поворот. Вот почему он внимательно изучал сердце и ум человека: он прекрасно знал все их пружины. Когда он размышлял о чем-нибудь, то ставил себя на место тех, кто будет его слушать, и, проверив, все ли соотношения тут налицо, он искал затем, какой поворот надо им придать, и удовлетворялся лишь тогда, когда видел несомненно, что одно так соответствовало другому, то есть что он думает как бы умом своего будущего собеседника, что когда наступало время всему этому соединиться в разговоре, то уму человеческому невозможно было не принять его доводы с удовольствием. Из малого он не делал великого, а из великого – малого. Ему недостаточно было, что фраза казалась красивой; она должна была еще и соответствовать своему предмету, чтобы в ней не было ничего лишнего, но также и ничего недостающего. Одним словом, он настолько владел своим стилем, что мог выразить все, что хотел, и его речь всегда производила то впечатление, которое он и задумал. И эта манера письма, одновременно простая, точная, приятная и естественная, была так ему свойственна и так не похожа на других, что едва появились «Письма к провинциалу», как все угадали, что они написаны им, как он ни старался это скрыть даже от своих близких.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Жетоны – разноцветные кружочки различного достоинства (20, 50 единиц и т. д.), с помощью которых вели счет в XVII веке.

2

Имеются в виду евангельские слова: «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет» (Лк. 8,16).

Купить: https://tellnovel.com/ru/paskal-_blez/mysli

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить